

Иван Тургенев

Литературные и житейские
воспоминания

УДК 82-6
ББК 83.3-8
Т87

Тургенев, И.

Т87 Литературные и житейские воспоминания / И. Тургенев. — М.: Книга по Требованию. — 200 с.

ISBN 978-5-519-49588-2

В первоначальном варианте эта серия очерков называлась «Литературные воспоминания», состояла из пяти частей и увидела свет в 1869 году. В издании 1874 года автором были добавлены еще два очерка, а в 1880 еще четыре. Название цикла также претерпело изменение: вместо «Литературных воспоминаний» стало «Литературные и житейские воспоминания» в связи с характером добавленных статей.

УДК 82-6
ББК 83.3-8

ISBN 978-5-519-49588-2

© Книга по Требованию, оформление, 2016

Вместо вступления

Около Пасхи 1843 года в Петербурге произошло событие и само по себе крайне незначительное и давным-давно поглощенное всеобщим забвением. А именно: появилась небольшая поэма некоего Т. А., под названием «Параша». Этот Т.А. был я; эту поэмой я вступил на литературное поприще. С тех пор прошло почти двадцать пять лет, и вот по поводу нового издания моих сочинений мне захотелось побеседовать с читателем и передать ему хотя частицу тех воспоминаний, которые накопились у меня в течение четверти века... Grande aevi spatium!¹ Не обещаю читателю ничего очень нового, ничего «пикантного»; предуведомляю его также, что многое должно будет остаться невысказанным или недосказанным. За причинами подобных недомолвок ходить недалеко. Все мы знаем, что многое изменилось с 1843 года, многое исчезло совершенно... но не все еще связи порваны между нынешним настоящим и тогдашним прошедшим; много лиц осталось в живых — и не одни лица уцелели. А правду, беспристрастную и всестороннюю правду, можно высказать только о том, что окончательно сошло со сцены. Потому я решаюсь ограничиться несколькими отрывками, несколькими отдельными главами из моих воспоминаний; внутреннее единство, я надеюсь, скажется в них; но от наружного единства, от последовательности рассказа отказываюсь заранее. Считаю, однако, нужным сообщить предварительно несколько данных, касающихся лично до меня и определяющих исходную точку моей деятельности.

Окончив курс по филологическому факультету С.-Петербургского университета в 1837 году, я весной 1838 года отправился доучиваться в Берлин. Мне было всего 19 лет; об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться

некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей. Из числа тогдашних преподавателей С.-Петербургского университета не было ни одного, который бы мог поколебать во мне это убеждение; впрочем, они сами были им проникнуты; его придерживалось и министерство, во главе которого стоял граф Уваров, посылавшее на свой счет молодых людей в немецкие университеты. В Берлине я пробыл (в два приезда) около двух лет. Из числа русских, слушавших университетские лекции, назову: в течение первого года — Н.Станкевича, Грановского, Фролова; в течение второго — столь известного впоследствии М.Бакунина. Я занимался философией, древними языками, историей и с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера. В доказательство того, как недостаточно было образование, получаемое в то время в наших высших заведениях, приведу следующий факт: я слушал в Берлине латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бёка — а на дому принужден был зубрить латинскую грамматику и греческую, которые знал плохо. И я был не из худших кандидатов.

Стремление молодых людей — моих сверстников — за границу напоминало искание славянами начальников у заморских варягов. Каждый из нас точно так же чувствовал, что его *земля* (я говорю не об отечестве вообще, а о нравственном и умственном достоянии каждого) велика и обильна, а порядка в ней нет. Могу сказать о себе, что лично я весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос... но делать было нечего. Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к

которой я принадлежал — полоса помещицья, крепостная, — не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования — отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колесой, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн — я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда.

Мне и в голову не может прийти осуждать тех из моих современников, которые другим, менее отрицательным путем достигли той свободы, того сознания, к которым я стремился... Я хочу только заявить, что я другого пути перед собой не видел. Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, не доставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить. И я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд. «Записки охотника», эти, в свое время новые, впоследствии далеко опереженные этюды, были написаны мною за границей; некоторые из них — в

тяжелые, минуты раздумья о том: вернуться ли мне на родину или нет? Мне могут возразить, что та частичка русского духа, которая в них замечается, уцелела не по милости моих западных убеждений, но несмотря на эти убеждения и помимо моей воли. Трудно спорить о подобном предмете; знаю только, что я, конечно, не написал бы «Записок охотника», если б остался в России. Скажу также, что я никогда не признавал той непреступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосведущие патриоты непременно хотят провести между Россией и Западной Европой, той Европой, с которою порода, язык, вера так тесно ее связывают. Не составляет ли наша, славянская раса — в глазах филолога, этнографа — одной из главных ветвей индо-германского племени? И если нельзя отрицать воздействия Греции на Рим и обоих их вместе — на германо-романский мир, то на каком же основании не допускается воздействие этого — что ни говори — родственного, однородного мира на нас? Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой, — нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохонький народец! Я сужу по собственному опыту: преданность моя началам, выработанным западною жизнью, не мешала мне живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской речи. Отечественная критика, взводившая на меня столь многочисленные, столь разнообразные обвинения, помнится, ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности языка, в подражательности чужому слогу.

А впрочем — «basta così»;² довольно распространяться о собственной особе; буду говорить о других.

Это интереснее и для читателя и для меня самого. Позволю себе заметить, что отрывки из моих воспоминаний, которые я решаюсь представить на суд публики, следуют друг за другом в хронологическом порядке и что первый из них относится ко времени, предшествовавшему 1843 году.

Баден-Баден. 1868 г.

Литературный вечер у П. А. Плетнева

В начале 1837 года я, будучи третьекурсным студентом С.-Петербургского университета (по филологическому факультету), получил от профессора русской словесности, Петра Александровича Плетнева, приглашение на литературный вечер. Незадолго перед тем я представил на его рассмотрение один из первых плодов моей Музы, как говаривалось в старину, — фантастическую драму в пятистопных ямбах под заглавием «Стенио». В одну из следующих лекций Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал, с обычным своим благодушием, это совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание байроновскому «Манфреду». Выходя из здания университета и увидав меня на улице, он подозвал меня к себе и отечески пожурил меня, причем, однако, заметил, что во мне что-то есть! Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений; он выбрал из них два и год спустя напечатал их в «Современнике», который унаследовал от Пушкина. Заглавия второго не помню; но в первом воспевался «Старый дуб», и начиналось оно так:

Маститый царь лесов, кудрявой головою
Склонился старый дуб над сонной гладью вод, и т. д.

Это первая моя вещь, явившаяся в печати, конечно, без подписи.

Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича, я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! да! хороши наши министры! нечего сказать!» — засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые

глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с которым мне до тех пор не удавалось встретиться; и как я досадовал на свою мешкотность! Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему. Поклонение авторитетам в последнее время подверглось, как известно, насмешкам, осуждению, чуть не проклятию. Признаться в нем — значит заклеить себя пошлецом навеки. Но позволю себе заметить нашим строгим молодым судьям, что не худо бы сперва условиться в значении слова «авторитет». Авторитет авторитету — рознь. Сколько я помню, никому из нас (я говорю об университетских товарищах) и в голову не пришло бы преклониться перед человеком потому только, что он был богат или важен, или очень большой чин имел; *это* обаяние на нас не действовало — напротив... Даже великий ум нас не подкупал; нам нужен был *вождь*; и весьма свободные, чуть не республиканские убеждения отлично уживались в нас с восторженным благоговением перед людьми, в которых мы видели своих наставников и вождей. Скажу более: мне кажется, что такого рода энтузиазм, даже преувеличенный, свойствен молодому сердцу; едва ли оно в состоянии воспламениться отвлеченной идеей, как бы прекрасна и возвышенна она ни была, если эта самая идея не явится ему воплощенной в живом лице — в наставнике. Вся разница между теперешним и тогдашним поколениями состоит, быть может, в том, что мы не стыдились нашего идола и нашего поклонения, а, напротив, гордились и тем и другим. Независимость собственных мнений, бесспорно, дело почтенное и благое; не добившись ее, никто не может назваться человеком в истинном смысле слова; но в том-то и вопрос, что ее *добиться* надо, надо ее завоевать, как почти все хорошее на сей земле; а *начать*

это завоевание всего удобнее под знаменем избранного вождя. Впрочем, надо и то принять в соображение, что нынешние молодые люди имеют иные понятия, иные воззрения; если б, например, в наше время кто-нибудь из нашей среды вздумал требовать для молодого поколения «уважения», мы бы, наверное, на смех его подняли — мы бы даже обиделись; «это хорошо для стариков, — подумали бы мы, — а нам нужен только простор, да и тот мы себе завоюем». Кто тут прав, кто виноват — из прежних или нынешних, — решить не берусь; в сущности, стремления молодежи всегда бескорыстны и честны; и цели их остаются те же, только имена меняются. Быть может, при большей гражданской развитости современных юношей, при большей затруднительности их задач — они точно нуждаются в уважении.

Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз — за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардт. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей — и кудрявые волосы... Он и на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом — вообще он казался не в духе — и отошел в сторону. Несколько дней спустя я видел его лежавшим в гробу — и невольно повторял про себя:

Недвижим он лежал... И странен
Был томный мир его чела...
Но возвращаюсь к рассказу.